

Оруэлл и Уильямс: язык и социализм¹

Тони
Кроули

1. ВВЕДЕНИЕ

Джордж Оруэлл и Реймонд Уильямс были центральными фигурами британских левых в XX веке, их карьеры иногда пересекались (эссе Оруэлла «Писатели и Левиафан» (1948)² было опубликовано в журнале «Политика и литература», одним из редакторов которого был Уильямс). Критичное отношение Уильямса к творчеству Оруэлла нашло свое отражение во все более враждебных замечаниях в книгах «Культура и общество» (1958), «Оруэлл» (1971) и «Политика и литература» (1979)³. Однако в этом эссе я не буду разбирать отдельные критические высказывания Уильямса об Оруэлле. Скорее я постараюсь рассказать об их подходах к языку, который оба автора считали ключом для понимания социальной и политической жизни и потому важным для социалистов. В заключение я дам оценку идеологическим последствиям представлений Оруэлла об отношениях между



Тони Кроули (р. 1960) – профессор английской филологии Лидского университета, член Общества Реймонда Уильямса и редколлегии журнала «Ключевые слова».

- ¹ Перевод выполнен с разрешения правообладателя по изданию: CROWLEY T. *Orwell and Williams: Language and Socialism* // *Key Words: A Journal of Cultural Materialism*. 2016. № 14. P. 23–37 (www.jstor.org/stable/26920408).
- ² ORWELL G. *Writers and Leviathan* // *Politics and Letters*. 1948. № 1. P. 36–40.
- ³ WILLIAMS R. *Culture and Society 1780–1950*. London: Chatto and Windus, 1958. Part III. Ch. 6; IDEM. *Orwell*. London: Fontana, 1971; IDEM. *Politics and Letters: Interviews with New Left Review*. London: New Left Books, 1979. Part V. Ch. 2.



КУЛЬТУРА
(ЛЕВОЙ)
ПОЛИТИКИ

языком и политикой, что в свою очередь приведет к пониманию причин, по которым Уильямс последовательно отвергал подход своего политического предшественника.

2. ЗАБОТА ОРУЭЛЛА О ЯЗЫКЕ

Влияние обеспокоенности Оруэлла проблемой языка и ее политическими импликациями столь велико, что термин «оружейный» нередко используется для обозначения в каком-то смысле зловещего или опасного языкового обихода. Оруэлл прямо выразил интерес к этому вопросу в эссе «Политика и английский язык» (1946), а косвенно – в гораздо более популярном «1984» и в приложении к нему под названием «Принципы новояза» (1949)⁴. Основная идея Оруэлла в том, что использование языка может иметь опасные последствия и поэтому коммуникативная ясность имеет политическое значение. Опасения писателя по поводу разрушительного использования языка не удивительны, учитывая, что он стал свидетелем раннего использования средств массовой информации в качестве инструмента пропаганды (термин, который приобрел уничижительный оттенок только с 1920-х) в 1930-е – во время гражданской войны в Испании, Второй мировой и на заре «холодной» войны. Широко известно оруэлловское высказывание⁵:

«В наши дни политическая речь и письмо в значительной степени служат оправданием того, чему не может быть оправдания. Такие вещи, как продолжение британского правления в Индии, чистки и депортации в России, сброс атомных бомб на Японию, действительно можно оправдать, но лишь такими аргументами, которые большинству людей покажутся слишком жестокими и которые не вяжутся с заявленными целями политических партий»⁶.

По этой причине, отмечает Оруэлл:

«[Политический дискурс состоит] по большей части из эвфемизмов, бесосновательных утверждений и непроглядно туманной расплывчатости. Беззащитные села подвергаются бомбардировке с воздуха, жителей выгоняют в поля, скот расстреливают из пулеметов, жижи поджигают зажигательными пулями – это называется *умиром*»

4 ORWELL G. *Politics and the English Language* [1946] // ИДЕМ. *Nineteen Eighty-Four*. London: Penguin, 2013; ИДЕМ. *The Principles of Newspeak* [1949] // Ibid.

5 Существуют ставшие уже почти классическими переводы сочинений Оруэлла, а также некоторых иных англоязычных текстов, использованных в статье Тони Кроули. Мы хорошо понимаем, что те переводы уже больше тридцати лет назад вошли в русскоязычный культурный обиход. Однако мы согласились с позицией переводчиков Натальи Канашко и Павла Шопина, заново сделавших русские версии всех оригинальных английских цитат, – для сохранения необходимых акцентов и смысловых связей с основным текстом статьи. – *Примеч. ред.*

6 ИДЕМ. *Politics and the English Language*. P. 373–374.

творением. Миллионы крестьян лишаются своих хозяйств и вынуждены брести по дорогам, сохранив лишь то, что они смогли унести на себе, – это называется *перемещением населения* или *исправлением границ*. Людей без суда бросают в тюрьмы на долгие годы, или убивают выстрелом в затылок, или отправляют умирать от цинги в лесозаготовительных лагерях Арктики – это называется *устранением неблагонадежных элементов*»⁷.

Стоит отметить, что аналитический подход Оруэлла к языку предвосхитил один из центральных методов медиа-исследований. Оруэлл предполагал, что выделенный им тип запутывающего языка служит конкретной задаче – умолчанию о насилии, применяемом для достижения политических целей. У этого есть два аспекта: отрицание самого насилия и искоренение политической субъектности в решении его использовать. В результате, как писал Дэвид Бромвич⁸ в эссе о войне в Ираке «Эвфемизм и американское насилие», получилась «история, сфальсифицированная языком». Как отмечает Бромвич, это наблюдение не было новым; в «Жизнеописании Юлия Агриколы» Корнелия Тацита⁹ каледонский мятежник так описывал римских империалистов: «Грабежам, резне и насилию они дают лживое имя “правление”; они производят опустошение и называют это “миром”»¹⁰.

Это, безусловно, хорошо сформулированная и важная мысль – язык в данных примерах используется для того, чтобы скрыть и ввести в заблуждение относительно применения насилия государством. Но стоит отметить, что рассуждения Оруэлла, как и многих других его последователей, по сути, касаются стиля. Это, несомненно, важный метод, но следует отметить, что он не объясняет те многочисленные примеры политического дискурса, когда язык используется просто для лжи (в конце концов, существует различие между эвфемистической полуправдой и фактически неверным утверждением). Тем не менее опыт Оруэлла, искавшего связь между ясностью и политической добросовестностью, может стать полезным для социалистов. Это не означает, что следует приводить упрощенные аргументы, используя односложные англосаксонские слова (позже мы еще поговорим о стилистических ограничениях Оруэлла). Но любой радикальный политический проект должен в своей основе стоять на том, что, каким бы сложным ни был процесс, мир познаваем, факты могут быть установлены, убедитель-

ТОНИ КРОУЛИ

ОРУЭЛЛ И УИЛЬЯМС:
ЯЗЫК И СОЦИАЛИЗМ

7 Ibid. P. 373–374.

8 Дэвид Бромвич (р. 1951) – профессор английской филологии Йельского университета, член Американской академии искусств и наук. Среди его работ – «Politics by Other Means: Higher Education and Group Thinking» (New Haven: Yale University Press, 1992) и «How Words Make Things Happen» (Oxford: Oxford University Press, 2019). – *Примеч. перев.*

9 Тацит К. *Жизнеописание Юлия Агриколы* // Он же. *Сочинения: В 2 т.* Л.: Наука, 1969. Т. 1.

10 BROMWICH D. *Euphemism and American Violence* // *New York Review of Books*. 2008. Vol. 55. № 5. P. 28.



ные аргументы могут быть четко сформулированы, а согласие достижимо на языке и с помощью языка. Сложность не обязательно влечет за собой непонятность, но непонятность сама по себе плоха, потому что делает невозможным понимание. В этом смысле Оруэлл прав, когда утверждает, что язык и мышление диалектически переплетаются и что язык «становится уродливым и неточным, потому что наши мысли глупы, а неряшливость нашего языка способствует оглуплению нашего мышления»¹¹. И именно из того, что дезориентирующие языковые практики («привычки», как их называет Оруэлл) создают проблемы, следует, следующее:

«Если человек избавится от этих привычек, он сможет мыслить более ясно, а ясное мышление является необходимым первым шагом к политическому возрождению, поэтому борьба с плохим английским не легкомысленна и не является исключительной заботой профессиональных писателей»¹².

Такие «привычки» принимают разные формы. Эвфемизм, как указывает Оруэлл, или знакомая, но всегда упрощающая тенденция к необоснованной экстраполяции от частных случаев к общим наблюдениям – это «привычка», лежащая в основе многих, если не всех, форм социальных предрассудков.

Таким образом, многое в критических замечаниях Оруэлла о языке заслуживает внимания, но все же высказанные им в этом эссе представления о том, что такое «плохой английский», во многих отношениях глубоко ошибочны. Иногда его замечания просто невежественны, как, например, выпад против «плохих писателей», находящихся во власти «представления, будто латинские или греческие слова благороднее саксонских», в результате чего «ненужные слова – такие, как *expedite* [ускорять], *ameliorate* [улучшать], *predict* [предсказывать], *extraneous* [посторонний], *deracinated* [искорененный], *clandestine* [тайный], *subaqueous* [подводный] и сотни других, – постоянно укрепляют свои позиции в ущерб своим англосаксонским аналогам»¹³. Узкоанглийская языковая местечковость Оруэлла основана на невежественном понимании истории английского языка и сводится не более чем к личным стилистическим предрассудкам. Это касается и представления о том, что «защита английского языка» обязательно подразумевает «использование наименьшего количества кратчайших слов, передающих смысл»¹⁴. Более того, в своем эссе Оруэлл иногда неудачно подбирает слова: например, когда утверж-

11 ORWELL G. *Politics and the English Language*. P. 365.

12 Ibid. P. 365.

13 Ibid. P. 369.

14 Ibid. P. 376.

дает, что «великий враг ясного языка – неискренность» (хотя из контекста ясно, что он имеет в виду «нечестность»)¹⁵, или когда утверждает, что «нынешний политический хаос связан с упадком языка» – будто английский язык потерял некое предыдущее, более высокое положение¹⁶. Временами письмо Оруэлла кажется прекрасным примером того типа слабого стиля, против которого он выступает: «как только поднимаются определенные темы, конкретное растворяется в абстрактном, и никому, кажется, не приходят на ум какие-нибудь неизбитые речевые обороты»¹⁷.

Его теория познания одновременно наивна – «вероятно, лучше как можно дольше откладывать использование слов и сперва как можно яснее понять смысл с помощью образов или ощущений»¹⁸ – и обманчива в своей критике абстрактного мышления (словно эмпиризм сам по себе не глубоко абстрактная доктрина). И все же, несмотря на эти проблемы, не может быть никаких сомнений в актуальности акцента Оруэлла на значимости языка. Ибо, как он утверждает, подумайте, что произойдет, если вы не мыслите критически и не думаете о языке, который используете, а вместо этого готовы беззаботно «раскрыть свой разум и допустить нашествие готовых фраз»:

«[Такие фразы] выстроют за вас ваши предложения – даже в некоторой степени обдумают ваши мысли за вас – и при необходимости окажут важную услугу, частично скрыв смысл даже от вас самих. Здесь и становится очевидной особая связь между политической и порчей языка»¹⁹.

В целом это разумное, хотя и неполное, понимание роли языка в формировании идеологии и субъектности.

3. ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО ЯЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ УИЛЬЯМСА

Введение «Культуры и общества» начинается с таких слов:

«В последние десятилетия XVIII века и в первой половине XIX века некоторые слова, исключительно важные для нас сегодня, впервые вошли в общее употребление в английском языке или же, если они уже широко использовались, приобрели новые и важные значения. Общая закономерность изменения этих слов может послужить своего рода картой, позволяющей рассмотреть масштабные

15 Ibid. P. 374.

16 Ibid. P. 377.

17 Ibid.

18 Ibid. P. 376.

19 Ibid. P. 372–373.



трансформации в жизни и мышлении, которые очевидно соотносятся с изменениями в языке»²⁰.

Заканчивается же введение так:

«Я изучаю вопросы нашего общего языка, представляющие общий интерес, и если подумать, как обстоят дела сейчас, наш постоянный интерес к языку вряд ли может быть более жизненным»²¹.

В другом месте введения Уильямс заявляет, что он «намерен изучать реальный язык, то есть слова и их последовательности, которые отдельные мужчины и женщины используют, пытаясь придать смысл своему опыту», а также «общее развитие значений в языке»²². Рассматривая слова, Уильямс понимает их «изначальные значения», «развитие» и «отношения между ними» не как «случайные, но общие и глубоко значимые». Его амбициозный «круг ведения», как он выражается, «заключается не только в различении значений, но и в установлении их источников и последствий»²³.

«Культура и общество» должны были стать, по крайней мере частично, исследованием слов из «реального языка», нашего «общего языка» как формы социального и культурного картирования. Сами слова были обычными, общими словами, но тем не менее имели историческое значение. Вот примеры, с которых начал Уильямс:

«Пять слов – ключевые точки, из которых можно составить эту карту. Это “индустрия”, “демократия”, “класс”, “искусство” и “культура”. Важность этих слов в нашей современной структуре значений очевидна»²⁴.

Но это были лишь отправные точки работы, и далее Уильямс ссылается на «ряд других слов, которые являются либо новыми, либо приобрели новое значение в этот решающий период» (то есть в 1780–1850-х годах):

«Среди новых слов, например: “идеология”, “интеллектуал”, “рационализм”, “ученый”, “гуманитарный”, “утилитарный”, “романтизм”, “атомистический”; “бюрократия”, “капитализм”, “коллективизм”, “коммерциализм”, “коммунизм”, “доктринер”, “уравнительный”, “либерализм”, “массы”, “средневековый” и “средневековость”, “оперативник”, “примитивизм”, “пролетариат” (новое слово для «черни»), “социализм”, “безработица”; “чудаки”, “высококобый”, “-измы” и “претенциозный”. Среди слов, которые затем приобрели свои ныне

20 WILLIAMS R. *Culture and Society 1780–1950*. P. xiii.

21 Ibid. P. xx.

22 Ibid. P. xix.

23 Ibid. P. xviii.

24 Ibid. P. xiii.

современные обычные значения: “бизнес” (= ремесло), “общепринятый” (= вульгарный), “серьезный” (ироничное), “образование” и “образовательный”, “поладить”, “ручной работы”, идеалист (= визионер), “прогресс”, “рядовой состав” (не только военные), “реформатор” и “реформизм”, “революционер” и “революционизировать”, “ставка” (в отличие от «заработка»), наука (= естественные и физические науки), “спекулянт” (финансовое), “солидарность”, “забастовка” и “провинциальный” (как описание отношения)»²⁵.

Учитывая явный акцент на языке, особенно на истории слов и социальной значимости их изменяющихся значений, читателям было бы простительно думать, что эти цитаты взяты из выдающегося лингвистического исследования Уильямса «Ключевые слова» (1976), а не из «Культуры и общества» (1958) – его самой ранней и, возможно, самой влиятельной работы. Но на самом деле Уильямс говорит нам, что проблема языка была отправной точкой для всего проекта «Культуры и общества», поскольку в дискуссиях на его занятиях для Рабочей образовательной ассоциации в 1950-е одной из важнейших тем было именно значение слов, в особенности пяти ключевых – «культуры», «класса», «искусства», «индустрии» и «демократии». Размышляя об этом раннем этапе своего творчества, Уильямс использует выражение, указывающее на происхождение его важной теоретической концепции, «структуры чувства»: «Я чувствовал эти пять слов как некую структуру»²⁶. Но они были чем-то большим, как обнаружил Уильямс, когда «почти случайно» наткнулся на слово «культура» в экземпляре «Оксфордского словаря английского языка» из публичной библиотеки Сифорда и увидел «в языке не только интеллектуальную, но и историческую форму»²⁷. Это стало переломным моментом (он описывает его как «шок узнавания»), предвестником двух серьезных достижений Уильямса. Во-первых, как отмечалось выше, он означал поворот к популярной культуре (здесь в форме повседневного, общего языка) как к объекту исследования. Во-вторых, с ним связано появление новой дисциплины – исторической семиотики (а не традиционной исторической семантики): исследование исторической и интеллектуальной формы слов – изучение их изменений на протяжении истории, а также взаимосвязей в определенные моменты, включая, конечно, в настоящее время. Поэтому очевидно, что внимание к языку, определенное понимание языка, первоначально лежит в основе творчества Уильямса и приобретает для него все большее значение. Оно есть во введении к «Культуре и обществу» и составляет основу «Ключевых слов», представляющих собой расширенную вер-

25 Ibid. P. xvii.

26 WILLIAMS R. *Keywords. A Vocabulary of Culture and Society*. London: Fontana, 1976. P. 13.

27 Ibid. P. 13.



сию приложения, которое автор не смог добавить к «Культуре и обществу» по причине ограниченного формата, и оно лежит в основе наиболее актуальной теоретической работы Уильямса «Марксизм и литература» (1977)²⁸. Действительно, размышляя о «Марксизме и литературе» в «Политике и литературе» (1979), Уильямс описывает эту книгу как важное отклонение (от основной своей линии того времени), поскольку он «не написал ничего теоретического, кроме двух статей, с момента первой части “Долгой революции” (1961)²⁹»³⁰. Работа началась с серии лекций в Кембридже примерно в 1970 году, про которые автор говорит:

«В этих лекциях не было ничего о теории языка, тогда как теперь это самый большой раздел книги, и я сказал бы – стержневой. Я не думаю, что остальная часть книги может быть обоснована, если эту позицию не рассматривать как ее основу. [...] Я мог бы написать целую книгу только по этому вопросу»³¹.

Тот факт, что Уильямс выделяет главу о языке в «Марксизме и литературе» как «стержневую», важен по двум причинам. Во-первых, она содержит теоретизирования о языке, позволяющие ретроспективно понять метод, лежащий в основе не только «Культуры и общества», но и культурного материализма в целом. Во-вторых, само выделение указывает на центральное место языка во всем творчестве Уильямса.

4. ОРУЭЛЛ: ЗНАЧЕНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Несмотря на то, что «Политика и английский язык» остается самым прямым обращением Оруэлла к этой теме, очевидно, «1984» – его самое известное произведение – исходит из языка и определенной теории значения. В Океании, тоталитарном государстве будущего, был создан новый язык – новояз – с собственным словарем (в десятом издании «1984»). Как показывает приложение к «1984» – «Принципы новояза», – этот язык был изобретен в очевидных политических целях. Его функция заключалась в следующем:

«Не только обеспечить средством выражения мировоззрения и умственных привычек, свойственных приверженцам англосоца, но и сделать невозможными любые иные мысли. [...] Это частично достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением

28 ИДЕМ. *Marxism and Literature*. Oxford: Oxford University Press, 1977.

29 ИДЕМ. *The Long Revolution*. London: Chatto and Windus, 1961.

30 ИДЕМ. *Politics and Letters...* P. 324.

31 Ibid. P. 324.

нежелательных слов и очищением оставшихся от неортодоксальных значений и по возможности всех второстепенных значений»³².

ТОНИ КРОУЛИ

ОРУЭЛЛ И УИЛЬЯМС:
ЯЗЫК И СОЦИАЛИЗМ

Ощущение потенциальной угрозы языка, основанное на особом взгляде на отношения между языком и мышлением, позволило Оруэллу вообразить некую форму непреодолимой власти. Новояз, «предназначенный не для расширения, а для сужения горизонта мысли»³³, преследовал одну конечную цель:

«Новояз действительно отличался от большинства других языков – его словарь с каждым годом сокращался, а не увеличивался. Каждое сокращение было достижением, ибо, чем меньше область выбора, тем меньше соблазн задуматься. Предполагалось, что, в конце концов, артикулированная речь будет исходить из гортани, вообще не затрагивая высшие мозговые центры»³⁴.

Как только эта цель будет достигнута, жители Океании перестанут быть рациональными людьми и вместо этого окажутся низведены до статуса животных. В конечном счете, они станут использовать «утиный язык» – ничего не говорить, а лишь кричать, как утки.

Стоит отметить, что формулировка языка-мышления в основе текста Оруэлла берет начало из работ Вильгельма фон Гумбольдта – ученого, чьи исследования заложили фундамент того, что позже стало известно как лингвистическая относительность (релятивизм). В своей книге «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода» («Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und seinen Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts», 1836), частично основанной на исследовании яванского языка кави, Гумбольдт приводил доводы в пользу творческой роли языка в человеческом мышлении: «Язык есть орган, образующий мысль»³⁵. Он также утверждал неразрывную связь между языками и способами мышления: «различие языков основывается на их форме, а эта последняя находится в тесной связи с мировоззрением народа; [...] деятельность мышления и язык представляют поэтому неразрывное единство»³⁶. Целью этой важной новой концепции отношений между языком и мышлением было поставить под сомнение как универсализм (идею, что, несмотря на различия, все языки воплощают категории Разума), так и традиционное понимание

32 ORWELL G. *The Principles of Newspeak*. P. 343–344.

33 Ibid. P. 344.

34 Ibid. P. 352.

35 Гумбольдт В. *О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода* // Он же. *Избранные труды по языкознанию*. М.: Прогресс, 1984. С. 307–323 (<http://philologos.narod.ru/classics/humboldt.htm#dif>).

36 Там же.



функции языка (просто представлять мир). Ее значение выходило за рамки философии, поскольку она служила основой языкового национализма, стержневой доктрины, на которой построен культурный национализм – система убеждений, неоднократно использовавшаяся национально-освободительными движениями против имперской власти в XIX и XX веках.

Исследование мыслеобразующей роли языка получило серьезное развитие в начале XX века во влиятельных работах двух американских антропологов – Эдуарда Сепира и Бенджамина Ли Уорфа. Подобно тому, как исследования Гумбольдта были сосредоточены на языках за пределами основных европейских языков (баскский, кави), исследования Сепира и Уорфа включали в себя изучение быстро исчезающих («америндских») языков коренных американцев. Основываясь на исследовании лексики и грамматики таких языков, как хопи, Уорф пришел к следующему выводу:

«Мы расчленяем природу по линиям, предписанным нашим родным языком. Категории и типы, которые мы выделяем из мира явлений, не находятся там нами в готовом состоянии и не доступны взгляду любого наблюдателя – напротив, мир представлен в калейдоскопическом потоке впечатлений, который должен быть организован нашим мышлением; и это делается в значительной степени языковыми системами в нашем мышлении»³⁷.

Как и предыдущая формулировка связи между языком и мышлением, эта гипотеза строилась на довольно радикальной посылке, и то, что стало известно как лингвистическая относительность (мышление относительно в зависимости от конкретного языка), послужило способом децентрализации европейских языков и западного Разума. Ибо, как выразился Уорф, принятие предложенного им принципа означало следующее:

«Мы больше не сможем рассматривать несколько недавних диалектов индоевропейской семьи и рационализирующих приемов, разработанных на основе их структур, как вершину эволюции человеческого мышления, или считать причиной их современного распространения выживание наиболее приспособленных, или любой другой фактор, кроме определенных исторических событий, которые можно назвать благоприятными лишь с точки зрения выигравшей стороны»³⁸.

Однако, если этот аспект работы Уорфа был политически прогрессивен, движение от лингвистической относительности (язык формирует мысль) к лингвистическому детерминизму

37 WHORF B.L. *Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf*. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology Press, 1956. P. 213.

38 Ibid. P. 279.

(язык определяет мышление) было более проблематичным. О лингвистическом детерминизме Уорф писал так:

«Мы расчленяем природу, организуем ее в понятия и приписываем значения во многом потому, что мы стороны соглашения о такой ее организации – соглашения, действующего в нашем речевом сообществе и кодифицированного в структурах нашего языка. Конечно, соглашение остается имплицитным и негласным, но его условия абсолютно обязательны; мы вообще не можем говорить без соблюдения организации и классификации данных, которых требует соглашение»³⁹.

Излишне говорить, что идея «молчаливого согласия» всегда сомнительна, а представление о том, что язык речевого сообщества является предметом негласного соглашения, условия которого являются «абсолютно обязательными», весьма спорно. Как будет показано ниже, такое понимание языка может лежать в основе политического мировоззрения, которого социалисты не могут себе позволить поддерживать.

Совершенно очевидно, что представление о неизменных отношениях между языком, мышлением и значением – в его релятивистском или детерминистском смысле – составляло часть «структуры чувства» в важной области англо-американской мысли начала XX века. Это представление, тесно связанное с формой культурного консерватизма, сосредоточенного на идее языкового упадка как символа общей культурной деградации (давняя традиция по отношению к английскому языку), сформулировали в своих работах некоторые американские мыслители и критики – такие, как Альфред Коржибски в «Науке и здравомыслии» (1933)⁴⁰, Стюарт Чейз в «Тирании слов» (1938)⁴¹, Сэмюэл Ичие Хаякава в «Языке в мышлении и действии» (1939)⁴² и группа вокруг журнала «ЕТС: Обзор общей семантики». Оруэлл, по крайней мере частично, знал об этом направлении (он упоминает «Стюарта Чейза и других» в конце «Политики и английского языка») и должен был быть знаком с одним из его центральных принципов: акцентом на опасных и вредных подходах к языку, имеющих своей целью

ТОНИ КРОУЛИ

ОРУЭЛЛ И УИЛЬЯМС:
ЯЗЫК И СОЦИАЛИЗМ

39 Ibid. P. 213–214.

40 KORZYBSKI A. *Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics*. Lancaster: The Science Press Printing Company, 1933. (Альфред Коржибски (1879–1950) – польский и американский ученый, исследователь, основатель общей семантики, утверждал, что познание людей ограничено структурой их нервной системы и языка. – Примеч. перев.)

41 CHASE S. *The Tyranny of Words*. New York: Harcourt, Brace and Company, 1938. (Стюарт Чейз (1888–1985) – американский экономист, социальный теоретик и писатель, чьи труды охватывали такие разные темы, как общая семантика и физическая экономика. – Примеч. перев.)

42 HAYAKAWA S.I. *Language in Thought and Action*. New York: Harcourt-Brace, 1939. (Сэмюэл Ичие Хаякава (1906–1992) – канадско-американский ученый и политик японского происхождения, профессор английской филологии, был президентом университета штата Калифорния в Сан-Франциско, а затем сенатором США от Калифорнии с 1977-го по 1983 год. – Примеч. перев.)



развратить мысли тех, кто использовал его в гнусных политических целях.

Если бы «1984» был не более, чем аллегорией несомненных опасностей языка, тогда можно было бы читать его, соотнося с историческим интеллектуальным контекстом, и приветствовать как полезное предостережение. Но есть основания утверждать, что текст Оруэлла, движимый тревогой о политических угрозах языка, скатывается от формы лингвистического релятивизма к лингвистическому детерминизму. Сатира Оруэлла строится не столько на идее, что язык формирует мысль, сколько на уорфианском принципе, согласно которому отношения между языком, унаследованным нами, и мыслями, которые этот язык допускает, могут быть предметом неоспоримого «абсолютно обязательного» «соглашения». По этой причине, вместо того, чтобы служить предостережением против языковых угроз, «1984», возможно, следует понимать как образец ошибочного представления о языке и значении, последствия которого весьма проблематичны. Ибо концепция языковой угрозы, которая доминирует в «1984», состоит в том, что владение партией языком через насаждение новояза может позволить и позволит ей контролировать ментальный мир подданных Океании. Последствием стало бы следующее:

«[Создание] нации воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одинаковые мысли, кричат одинаковые лозунги, неустанно трудятся, сражаются, торжествуют, преследуют – триста миллионов человек, и все на одно лицо»⁴³.

Другими словами, текст Оруэлла, основанный на вере в то, что доминирующая группа может определять слова и их значения – и, таким образом, мышление, воплощает одну из самых устойчивых политических иллюзий XX века: будто упорядочивание языка порождает политическое превосходство посредством контроля над умами людей.

С исторической точки зрения парадоксально, что понимание языка как основного способа постижения сознания, впервые возникшее в радикальных исследованиях неевропейских языков и культур, сформировало реакционное видение политического контроля. И, как отмечалось ранее, переход от релятивизма к детерминизму имеет решающее значение в этом отношении. Но необходимо учитывать, что лингвистический детерминизм допускает простую логическую ошибку: если бы он соответствовал действительности, как бы мы могли узнать, что это так? Другими словами, если мы не можем мыслить вне доступных нам статичных, фиксированных терминов и значений, то как именно

43 ORWELL G. *Nineteen Eighty-Four*. P. 85.

мы узнаем, что находимся в языковой тюрьме? Проще говоря, откуда Уорф мог знать, что слова языка хопи «несоизмеримы» со словами английского? Эта проблема вызывает трудности при любом объяснении (и есть ряд примеров – от научной фантастики до лингвистических и политических теорий), описывающем якобы predetermined эффекты языка⁴⁴. Оруэлл обходит эту сложность, помещая действие текста в некий промежуточный период. Это необходимо, потому что, если бы тоталитарный языковой контроль уже был реализован в Океании, сопротивление Уинстона было бы невозможным, поскольку он был бы заточен в языковой тюрьме новояза. В этом смысле насилие, примененное к Уинстону, указывает на то, что контроль партии над языком был скорее относительным, чем абсолютным. Но это просто означает, что 1984 год (исторический момент) был точкой перехода и, следовательно, перевода; новояз еще не был завершен – только следующее (одиннадцатое) издание словаря стало бы окончательной версией и привело к полной гегемонии⁴⁵.

Несмотря на то, что определение языка как политической проблемы – большое достижение, в конечном счете, текст Оруэлла пропагандирует пессимистическую и пораженческую идею, что язык может быть статичным и постоянным, что может быть навязано неизменное конечное значение и что субъектность открыта для прямого контроля. По сути, «1984» исходит из того, что повторение лозунгов партии («Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила») без труда одурочит слышащих их некритичных и пассивных человеческих субъектов. Но кто мог бы сказать то же самое о собственном сознании и мышлении других людей? Кто бы мог подумать о себе или о других как об одном из миллионов автоматов, «на одно лицо», говорящих только на «утином языке»? Такое видение языка не имеет исторического или политического смысла для социалистических мыслителей. Ведь если бы его центральное утверждение было правдой, это означало бы не что иное, как конец любой возможности общественной борьбы и перемен.

ТОНИ КРОУЛИ

ОРУЭЛЛ И УИЛЬЯМС:
ЯЗЫК И СОЦИАЛИЗМ

5. Уильямс: к социалистическому пониманию языка

Учитывая, что не существует полностью разработанного социалистического понимания языка, замечание Уильямса о том,

44 Лингвистический детерминизм появляется в различных обликах в таких разных текстах, как: SPENDER D. *Man Made Language*. London: Routledge, 1980; ATWOOD M. *The Handmaid's Tale*. New York: Random House, 1985; THIONG'O N.W. *Decolonising the Mind*. London: Currey, 1986. Рой Харрис представляет обширную историческую и философскую критику лингвистической детерминированности в: HARRIS R. *The Language Makers*. London: Duckworth, 1980; IDEM. *The Language Myth*. London: Duckworth, 1981.

45 ORWELL G. *The Principles of Newspeak*. P. 343.



что он мог бы написать целую книгу только о языке, кажется многообещающим. Трудно понять причину этого любопытного упущения – тем более, что язык играет центральную роль в общественном бытии. И вместе с тем подобный пробел приводит к ряду сложностей, поскольку отсутствие такого понимания языка вызывает трудности в ряде различных областей, не в последнюю очередь в понимании идеологии и гегемонии. Это не означает, что нет марксистской традиции мышления о языке, но очевидно, что она неполная и неразвита⁴⁶. Однако существует одно исключение – работы, написанные в Витебске и Ленинграде в конце 1920-х и в 1930-е и ставшие доступными на Западе в 1970–1980-х. А именно: тексты «Формальный метод в литературоведении» (1928) Павла Медведева, «Марксизм и философия языка» (1929) Валентина Волошинова, «Проблемы поэтики Достоевского» (1929) и очерки, собранные в «Диалогическом воображении» (1975) Михаила Бахтина, а также «Мышление и речь» (1934) Льва Выготского. Из этих мыслителей самым влиятельным был Бахтин, по крайней мере среди западных теоретиков культуры, а для социалистического понимания языка принципиально важна работа Волошинова, оказавшая глубокое влияние на Уильямса.

Маркс и Энгельс лишь несколько раз говорили собственно о языке, но в «Немецкой идеологии» есть один важный отрывок, часть опровержения философского идеализма, в котором они дают набросок материалистической концепции истории. В нем они размышляют о природе и функции языка:

«На “духе” [сознании] с самого начала лежит проклятие быть “отягощенным” материей, которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков – словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее так же и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоящей необходимости общения с другими людьми»⁴⁷.

Акцент на языке как центральном факторе человеческой деятельности указывает на важную функцию, которую Маркс и Энгельс приписывали ему в своем понимании отличительных черт человеческого бытия. Ибо ясно, что они считали, что язык играет ключевую роль в процессе перемен, посредством которого люди в общественных отношениях создают истори-

46 Краткий обзор марксистской мысли о языке см. в: CROWLEY T. *Marxism and Language* // HOGAN P. (Ed.). *The Cambridge Encyclopaedia of the Language Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008; LECERCLE J.-J. *A Marxist Philosophy of Language*. Boston: Brill, 2006.

47 МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф. *Немецкая идеология* // Они же. *Собрание сочинений*. М.: Политиздат, 1955. Т. 3. С. 29 (www.marxists.org/russkij/marx/cw/to3.pdf).

ческую реальность через удовлетворение как материальных потребностей, так и потребности в самовоспроизводстве. Но важно отметить, что Маркс и Энгельс не рассматривали язык как первичную или производную деятельность, которую можно было бы абстрагировать от человеческой жизни. Другими словами, язык не был той способностью, которая изначально позволила людям стать социальными существами, и не был средством, с помощью которого они могли выражать себя после социализации. Вместо этого, язык был ключевым, активным компонентом социальной, материальной практики – труда в его общем, техническом смысле, посредством которого люди становились человеческими существами и посредством которого они взаимодействовали с природой и другими людьми, а также воздействовали на них, тем самым творя историю.

Именно этот акцент на творческой, практической природе языка лежит в основе критики Волошиновым двух ключевых тенденций, которые он определил в современной лингвистической мысли: «индивидуалистическом субъективизме» и «абстрактном объективизме»⁴⁸. «Индивидуалистический субъективизм», который Волошинов относит к немецкому идеализму, рассматривает индивидуальный человеческий разум как важнейшее вместилище языка и понимает сам язык как тип эстетического творчества, из чего следует, что все речевые акты имеют творческий характер, индивидуальны и невозпроизводимы. Но «абстрактный объективизм» лучше всего иллюстрирует модель языка Фердинанда де Соссюра и развившийся под ее влиянием классический структурализм. При таком подходе статическая языковая система отделена от истории, от практического использования и состоит исключительно из нормативно идентичных знаков (реализованных на практике как фиксированные формы лексики, грамматики и фонетики). Если первая тенденция направлена на непрерывный процесс индивидуального языкового творчества, то вторая относится к языку как к законченному продукту, доступному объективному взору науки лингвистики.

По мнению Волошинова, оба эти взгляда ошибочны. Сосредоточение на индивидуальном сознании как на объяснении языковой сигнификации ошибочно, потому что индивидуальное сознание само нуждается в экспликации с социальной точки зрения. Это потому, что сознание только «слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива, [...] питается знаками, вырастает из них, отражает в себе их логику и их закономерность»⁴⁹. Другими словами, индивидуальный че-

48 Волошинов В.Н. *Марксизм и философия языка*. Л.: Прибой, 1930. С. 46–66.

49 Там же. С. 17.



ловеческий разум формируется через уже социальный язык; если бы не было языка, не было бы развитого сознания. Вслед за Марксом можно сказать, что именно языковое (и значит – общественное) бытие определяет сознание, а не наоборот.

Но это не означает, что индивидуальное сознание формируется посредством и в рамках нормативно идентичных знаков абстрактной объективистской системы. Напротив, знаки как динамические комплексы формы и значения не просто представлены как заданные, неизменные элементы системы, но оказываются открытыми продуктами деятельности, материальной практики, речетворчества среди общественно организованных индивидов. Именно потому, что язык, как и любая другая форма общественной жизни, по сути, становится площадкой для разрешения споров между конфликтующими интересами, знаки меняются исторически. Как следствие, знаки любого конкретного языка обязательно воплощают «противоречивую и насыщенную конфликтами общественную историю людей, говорящих [на нем]»⁵⁰.

Внимание Волошинова к языку как к творческой общественной деятельности, как к практическому сознанию и его настойчивое утверждение открытости знака, его многоакцентности имели для Уильямса двоякую значимость. Прежде всего это позволило ему теоретически осмыслить ощущение, исходящее из раннего осознания сложности термина «культура», что знаки одновременно и формируются прошлым использованием, и участвуют в творческом создании настоящего и будущего. Это в свою очередь позволило Уильямсу осмыслить метод, который он изобрел в процессе работы, и в этом отношении интересно его утверждение в эссе-размышлении «Кризис англистики» (1981), что «полноценная историческая семиотика была бы во многом тем же, что и культурный материализм»⁵¹. Вторая же причина особой значимости многоакцентности для Уильямса заключается в том, что она давала возможность думать об отношениях между языком и идеологией как об общественной практике.

Если функция идеологии в том, чтобы выдавать общественное за естественное и представлять историческое как вечное, то очевидно, что доктрина многоакцентности, с ее упором на необходимую историчность и открытость знаков, позволяет нам развенчивать различные идеологические формы, раскрывая их социальную конструктивность, изменчивость и конкретную историческую роль, которую они играют во властных формациях. Действительно, в этом смысле Марксова историческая критика политической экономии (например

50 WILLIAMS R. *Politics and Letters*... P. 176.

51 IDEM. *Crisis in English Studies* // IDEM. *Writing in Society*. London: Verso, 1983. P. 210.

в разделе «Экономических рукописей 1857–1859 годов»⁵², где деконструируется то, как некоторые экономисты понимают теории прибавочной стоимости) является своего рода предшественницей работы Уильямса в «Культуре и обществе» и «Ключевых словах». Ибо и Маркс, и Уильямс показали, как на первый взгляд «вневременные» понятия создавались в определенной истории определенными интересами для определенных целей.

Ключевое наблюдение Уильямса заключается в том, что язык – это творческая практика общества. Знак – это не заданная единица, принадлежащая какой-то абстрактной системе языка, а продукт речевой деятельности между реальными людьми, которые находятся в продолжающихся общественных отношениях. Значит, «используемые знаки» – это «живое свидетельство продолжающегося социального процесса, в котором люди рождаются и формируются, но в который они также активно вносят свой вклад в продолжающемся процессе»⁵³. Уильямс повторяет это важное положение, когда называет исторический характер языка «постоянно меняющимся результатом деятельности реальных людей в общественных отношениях, включая индивидов не просто как продуктов общества, но в точном диалектическом отношении производящих и производимых им»⁵⁴.

Для Уильямса общественный, творческий характер языка важен, потому что он допускает как силу идеологической интерпелляции⁵⁵, так и возможность сопротивления ей. В этом и заключается ключевое различие между Оруэллом и Уильямсом. Безусловно, Уильямс вслед за Оруэллом признал бы опасность языка (а Оруэлл, несомненно, заслуживает похвалы за то, что привлек серьезное внимание к этому вопросу), но он никогда не согласился бы с постулируемой Оруэллом возможностью тоталитарного политического порядка, в котором гегемония одной группы может быть обеспечена ее способностью фиксировать значения. В конечном счете, форма лингвистического детерминизма в «1984» оказывается не столько критикой, сколько типом пессимистического пораженчества, который еще больше усложняет путь к надежде.

ТОНИ КРОУЛИ

ОРУЭЛЛ И УИЛЬЯМС:
ЯЗЫК И СОЦИАЛИЗМ

52 МАРКС К. *Экономические рукописи 1857–1859 годов* // Маркс К., Энгельс Ф. *Собрание сочинений*. М.: Политиздат, 1968. Т. 46.

53 WILLIAMS R. *Marxism and Literature*. P. 37.

54 ИДЕМ. *Politics and Letters*... P. 330.

55 Интерпелляция – понятие, впервые предложенное Луи Альтюссером (1918–1990); описывает процесс воздействия идеологии на отдельного субъекта. – *Примеч. перев.*



6. ВЫВОДЫ. ВЫЗОВ УИЛЬЯМСА

Если взгляд Уильямса на язык верен, то он ставит нас перед вызовом: как использовать творческую, открытую, многоакцентную природу языка, наше практическое сознание, чтобы противодействовать на повседневном уровне обыденным словам, фразам, ярлыкам, обозначениям, речевым привычкам и способам говорения, которые идеологически интерpellируют нас в интересах господствующего порядка? Очевидно, это легче сказать, чем сделать, потому что, как правильно показала работа Оруэлла, силы, противостоящие сопротивлению, огромны, а давление реально. Но тем не менее социалистам можно и нужно принять этот вызов. Почему? Язык является творческим материалом и политической практикой, а значит, наши слова имеют значение, ведь они часть диалектического процесса, посредством которого мы формируем мир и им же формируемся. И именно потому, что наши слова имеют значение, нам нужно обращать на них внимание, использовать их критически, взвешивая, позитивно и прогрессивно, оставить подход, который заставляет нас говорить и писать наперекор самим себе и нашим коллективным интересам. Другого выхода нет: мы либо сопротивляемся условиям господства над нами, либо принимаем их. Конечно, те, у кого есть институциональная власть «устанавливать» значения в определенные моменты, будут пытаться заставить нас думать, будто эти значения «настоящие», «естественные», «сложившиеся», «общепринятые», «вечные», «случайные» – «одноакцентные». Но это не так, и действовать, будто это так, – серьезная ошибка. Значит, вызов состоит в том, чтобы использовать многоакцентность языка как одно из средств сопротивления, – это и есть призыв к словам.

Перевод с английского Натальи Канашко и Павла Шопина